

рушает сама себя. Ведь врождённые и наследственные психологические качества (тем более ценности) — это иллюзия, иначе никто из нас не нуждался бы ни в каком воспитании. Обычно такие идеологи отбирают для себя в качестве «прирождённых носителей национального духа» людей, *воспитанных кем-то другим*, притом не только на потребу диктатору. У них могут оказаться принципы, не предусмотренные ни теорией, ни теоретиком. И эти принципы в самый неподходящий момент прорвутся сквозь идеологический прессинг. Муссолини не предвидел, что за беспардонное враньё с него спросят не только политические противники, но даже сторонники — «фашисты первого часа», заставившие его уйти в отставку на заседании 24 июля 1943 г. (Кин 1991: 84—87).

Так, уже знакомый нам автор пытается увязать понятие свободы и «расовый дух»: «Это рассмотрение чешской истории крайне поучительно для всей наступающей расовой историографии и учит чётко отличать свободу от “свободы”. Свобода в германском смысле — это внутренняя независимость, возможность исследования, конструирование системы мира, по-настоящему религиозное чувство; свобода [же] для переднеазиатских вкраплений и тёмных метисов значит беспрепятственное уничтожение других культурных ценностей. Первое вызвало в Греции наивысшее культурное развитие, однако затем — полное разрушение этих творений в результате “превращения в людей” также и переднеазиатских рабов. Присуждать всем без различия сегодня внешнюю “свободу” — значит отдаваться на волю расового хаоса. Свобода означает связанность породой, только она может гарантировать всемерное развитие. Однако связанность породой требует также защиты этой породы» (Rosenberg 1934: 111). Нетрудно заметить, что заявленные ценности не складываются ни в какую общую картину: «свобода в рамках породы» — это не человеческая деятельность, а механическое функционирование автомата в силу заложенной в нём программы.

В итоге именно непонимание подлинных ценностей сыграло роковую шутку с теми диктаторами, которые пытались на них играть. В конце концов, честь — понятие старое, не Розенберг его изобрёл. Ещё Павел I пытался построить рыцарскую утопию, основанную на понятии чести. Отсюда культ формы и масса средневековых атрибутов павловского царствования. Но отсюда же непримиримое противоречие между принципом самодержавия и принципом чести — то есть права рыцаря отказаться выполнять унижительный приказ. В результате действительно рыцарственные вельможи предпочли быть в отставке, царя же окружили либо тупые солдафоны вроде Аракчеева, либо хитрые интриганы вроде его убийц — Палена и Бенигсена. Несовместимость идей и намерений Павла с его же практикой взорвала всю его систему, несмотря на многие личные достоинства этого монарха (Эйдельман 1986).

VI.2.4. Способ заполнения исторических пустот

В чём смысл того редактирования фактов и смыслов, которое мы обнаружили практически у всех кандидатов в мифотворцы XX века? Можно ли считать это сознательной ложью? Нет, далеко не всегда. Поэтому мы и избегали прямого упрека в искажении исторической действительности. Суть его в том, чтобы свести известные автору факты — заведомо неполные, ибо полная картина прошлого по определению невозможна, — в связанное целое. А для этого факты нуждаются в известной

подгонке — иначе они не только будут противоречить друг другу, но вообще не составят никакого связного образа прошлого.

Занимается ли такой подгонкой и научная история? О да. Ведь она вынуждена иметь дело с неполными свидетельствами, с выборочной картиной, причём и саму-то выборку делали не мы и даже не летописцы, а жестокое время, не берегущее необходимые нам источники. Что-то случайно дошло до нас в трёх независимых друг от друга текстах, что-то — ни в одном. А сколько документов было преднамеренно фальсифицировано! Сколько поколений русских верило в миф о «голштинском выродке» Петре III — со слов *его «безутешной» жены* и её клеветов! Прошлое — всё в лакунах, и их нужно чем-то заполнить ради связности общей картины. Зайдите в любой музей, где выставлена древняя керамика, и поглядите, как часто в склеенном сосуде на месте утраченных черепков виден современный гипс, сглаживающий контуры по логике современного реставратора. Очень часто этого гипса гораздо больше, чем уцелевших частей.

Значит ли это, что наши мифотворцы в этом отношении ничем не отличаются от законных «цеховых» историков? Отнюдь. Ведь безразлично, чем заполнять эти лакуны. Историк-«антиквар», которого так едко высмеял Ф. Ницше (*О пользе и вреде истории для жизни*, 3), в поисках ответа бросается в архивы, библиотеки, музеи, раскопы. Он тратит всю жизнь на уточнение каких-то мелочей — но без целой армии таких вот тружеников, широко известных только в узком кругу коллег, человечеству пришлось бы расстаться с надеждой знать истину о своём прошлом. Н. Я. Эйдельман рассказывал, как преисторик слушал жалобы пушкиниста: не знаю, что и поделать — куда-то начисто пропали всякие сведения о целых десяти днях жизни Пушкина! И думал: мне бы твои проблемы! Тут между питекантропом и неандертальцем — что ни десять лет, то новая схема видов человека, тут даты трипольской культуры «пляшут» на тысячу лет туда-сюда, и неизвестно даже, на каком языке говорили её создатели! И чтобы ответить на эти вопросы, копать придётся ещё десятки лет — в лучшем случае! А у вас проблема — десять дней!

Но это — учёные. Совсем иначе действует мифолог. Лакуны истории он заполняет собственной интуицией. Он считает себя вправе домысливать прошлое на основании одной лишь логики. Это значит, что он навязывает людям прошлого собственную психологию, примеряет на себя их роли. Когда читаешь романы В. Пикуля, постоянно ловишь себя на мысли: не мог светлейший князь А. М. Горчаков, рафинированный аристократ, лицейский друг Пушкина, о спеси которого ходили анекдоты, вести себя так прямолинейно, говорить так грубо, на каждом шагу сыпать такими штампованными афоризмами и высокопарными словами, на каждом шагу поминать Россию, империю, величие и свой сан! Так вёл бы себя бывший матрос Пикуль, окажись он волею случая на месте князя Горчакова, да и то лишь до тех пор, пока не привык бы к своей новой роли! Но точно так же Л. Н. Гумилёв, перефразируя известные слова Г. Флобера, должен был бы сказать: «Мой Чингисхан — это я! И мой Александр Невский — это я, и танский Тай-цзун Ли Шиминь — это я, и все мои любимые герои — это мои маски. А их враги ведут себя так, как вели бы себя на их месте мои враги — если только я их правильно понимаю».

Что же до фактов, их источники для мифолога обычно ограничиваются школьным, гимназическим, в лучшем случае — вузовским учебником. На короткий срок такая позиция очень выигрышна, ибо ставит читателя на одну доску с автором. Читатель польщён, что известный учёный (вариант: непризнанный гений) знает не больше меня и оперирует моей же логикой. Кто, читая Дюма или Мериме, не представлял себя на месте не только д'Артаньяна, но и Генриха IV или Маргариты Наваррской? Но это — успех одного дня, успех публициста. Ведь и общественная психология меняется. И тот же миф, который сводил с ума читателей, допустим, 1900 года, мог оказаться уже никому не нужным в 1950 году.

VI.2.5. А синергетика тут при чём?

Наконец, какое отношение имеет к Мифу синергетика, вокруг которой разгораются жаркие споры именно на эту тему? Синергетика не является научной дисциплиной в строгом смысле слова, так как у неё нет ни особого класса объектов, которые изучала бы она и только она, ни собственных экспериментальных методов. Четыре десятилетия назад она возникла как методология, позволяющая описывать *в целом* поведение объектов, недоступных (временно или принципиально) традиционным способам изучения. Эти объекты она рассматривает как системы, элементы которых — «чёрные ящики» в кибернетическом смысле: мы не знаем, что происходит внутри них, нам известны лишь сигналы на входе и выходе. Эти элементы рассматриваются как весьма простые, их внутренняя сложность не проявляется во взаимодействии, иначе никакой упорядоченности не возникает (Лоскутов, Михайлов 1990: 5). Основные категории синергетики — порядок и хаос, устойчивая неравновесность, ритмы, аттракторы (притягивающие состояния, к которым система стремится в силу внутренне присущей ей закономерности) и др.

Всё это заметно сближает синергетику с мифологическим стилем мышления, даже с архаическим (см.: Мосионжик 2003: 8—9). Не раз отмечены параллели между идеями синергетики и философией даосизма. Поэтому «новая наука» оказалась очень привлекательна для творцов новых мифологий. С. П. Капица, С. П. Курдюмов и Г. Г. Малинецкий (1997, раздел «*Междисциплинарные страсти*») вспоминали, как им приходилось объяснять бессмысленность «синергетики секса» и попытки получить с её помощью «главный принцип эзотерического знания». Но гораздо опаснее попытки современных мифотворцев с помощью синергетики придать научный вид своим мистическим построениям.

А. П. Назаретян с тревогой спрашивал: «Может ли математика работать на миф?»⁹². Увы, может — это мы и видели у Л. Н. Гумилёва, чарам которого поддались даже такие крупнейшие математики, как С. П. Капица, С. П. Курдюмов и Г. Г. Малинецкий. Ведь математика безразлична к тому, что именно она подсчитывает, это самая абстрактная из всех наук. Вспомним средневековый схоластический спор: сколько ангелов помещается на кончике иглы? Мифологичность этого вопроса заключается в объекте подсчёта, а не в методах, которые могут быть и самими современными. Разве в наши дни астрологи не составляют свои гороскопы на компьютерах?

⁹² Конференция «Процессы самоорганизации в Универсальной Истории», Белгород, 2004 г. Запись от 1 октября.